ДУШЕВНАЯ ДРАМА ГОГОЛЯ.

Гоголь страдал той неизлечимой болезнью, которая называется гениальностью.

Гениальность, которая стремилась стать сознательной и в этом стремлении разрушила и слабое тело, и сильный дух.

Гениальность—все еще таинственная, мало понятая сила, сила творчества. Она является результатом весьма сложных и в своей сложности еще неуловимых условий. Она дается человеку неизвестно как и почему, но из этого не следует, что она непостижима по существу.

Тот-же углерод, который тянется на десятки верст толстыми, черными пластами каменного угля, кое-где еще невядомыми нам путями ступился в твердые кристаллы алмаза, которые отшлифовываются в сверкающие драгоценные камни. Теперь мы уже получаем эти кристаллы алмаза лабораторным путем, но получаем кристаллы чрезвычайно мелкие, почти микроскопические.

Гоголь сознавал свою гениальность, и это сознание подавляло его. Он был гением, в настоящем, самом вѣрном, самом подлинном значении этого слова.

Гений, *genius*—родъ. Гоголь в своих творениях улавливал именно родовое, общее, самое типичное, то, что имѣет значение для цѣлаго рода, для родной страны или для всего рода человеческого. И поэтому Гоголь—глава натуральной школы—является одним из величайших символистов.

В самых обделенных, в самых осыпательных и доступных непосредственному восприятию явлениях жизни Гоголь с неподражаемой полнотой и определенностью умѣл уловить самое общее, коренное и типичное.

Сложную пестроту действительности он сводил къ нѣскольким простым художественным формулам, къ символамъ.

Что такое Чичиковъ, Хлестаковъ, Осипъ, Поздравъ и другіе, как не формулы, не символы, представляли цѣлыхъ группъ, лицъ и характеровъ? Но этому герою Гоголя и стали нарицательными именами.

В этом отношеніи Гоголь занимает первое мѣсто въ нашей литературѣ. Рядомъ съ нимъ можно поставить только Грибоѣдова, всѣ герои котораго также стали нарицательными; но Грибоѣдовъ въ своей комедіи охватилъ только одинъ уголокъ Россіи, среди московскаго служилого барства. Наррицательными именами стали также имена нѣкоторыхъ героев другихъ

корифеевъ нашей литературы, особенно Островскаго и Щедрина, но ни у кого она не приобрѣла такого общаго, т.-е. родового, гениальнаго значенія, какъ у Гоголя, и ни у кого нѣтъ такого количества нарицательныхъ именъ.

Только у Гоголя (и у Грибоѣдова) при громадномъ числѣ дѣйствующихъ лицъ, что ни лицо—то типъ, символъ.

Это доказываетъ удивительную концентрированность гоголевскаго творчества, этой чистой, неразведенной эссенціи художественности...

У Гоголя попадаются лица безъ рѣчей, намѣченные вскользь, нѣсколькими итритамп, но и они отличаются удивительно законченной типичностью.

«Скоро вслѣдъ за ними все утомилось, и гостиница объялась непробуднымъ сномъ; только въ одномъ окошечкѣ виденъ еще былъ свѣтъ, гдѣ жила какой-то приѣхавшій изъ Рязани поручикъ, бойкой, повидимому, охотникъ до сагоговъ, потому что заказалъ уже четыре пары и безпрестанно примѣривалъ вѣтую. Нѣскольکو разъ подходилъ онъ къ постели съ тѣмъ, чтобы ихъ скинуть и лечь, но никакъ не могъ: сагоги, тѣсно, были хорошо сшиты, и долго еще поднималъ онъ ногу и осматривалъ бойко и на двѣ стачанный каблуки».

Больше объ этомъ поручикѣ изъ Рязани у Гоголя ничего не сказано. Мы не знаемъ его вѣшности, его имени, онъ не сказалъ ни одного слова, но онъ живетъ въ нашей памяти, какъ типичное лицо съ определенной внутренней фазіономіей. И всякій человекъ съ узкой мелкой страстью къ вещамъ, спортсменъ, коллекционеръ,—намъ будутъ напоминать этого поручика изъ Рязани.

Такое гениальное творчество, очевидно, не можетъ быть сознательнымъ.

Соберите всѣхъ лучшихъ знатоковъ литературы, всѣхъ гениальнѣйшихъ критиковъ и ученѣйшихъ профессоровъ словесности, и они не создадутъ ни одной главы изъ «Мертвыхъ душъ», ни одной сцены изъ «Ревизора».

Гоголь, написавши свои лучшія вещи, самъ въ изумленіи останавливался предъ ними. Его поражали ихъ глубокой символизмомъ, неожиданный для него самого, онъ старался ихъ комментировать, объяснять. И въ лирическихъ отступленіяхъ въ «Мертвыхъ душахъ», и въ развязкѣ «Ревизора», и въ «Развѣдѣ» онъ старается объяснить значеніе своего творчества, но онъ самъ не можетъ ихъ охватить, ни постигнуть всей глубины и шарны его общест-

веннаго значенія. Онъ чувствуетъ, что ему удалось выразить много, страшно много, съ его точки зрѣнія, можетъ быть, даже слишкомъ много, онъ чувствуетъ глубокое общественное, психологическое и философское значеніе своего творчества, но оно подавляетъ его страшной и непослушной силой своей гениальности. Не онъ владѣетъ своимъ творчествомъ, оно имъ владѣетъ.

Этотъ страшный и могучій духъ его творчества, этотъ безпощадный «демонъ смѣха» развѣриваетъ передъ нимъ бездонную и плоскую трясиину людской пошлости и мелочей жизни, онъ безжалостно раскрываетъ всю типичную низменность, мелочность и пошлость души—человѣческой,—и Гоголь съ ужасомъ чувствуетъ, что вся эта низменность и пошлость живутъ и въ его собственной душѣ, онъ чувствуетъ, что и Чичиковъ, и Хлестаковъ—это онъ самъ, что это—воплощеніе нѣкоторыхъ сторонъ его собственной души.

Въ повѣсти «Страшная мѣсть», колдунъ пережилъ ужасный страхъ. «Ужъ онъ хотѣлъ перескочить съ конемъ черезъ узкую рѣчку, выступившую рукавомъ среди дороги, какъ вдругъ конь на всемъ скаку остановился, завертелъ къ нему морду, и—чудо, засмѣялся! Бѣлые зубы страшно блеснули двумя рядами во мракѣ. Дыбомъ поднялись волоса на головѣ колдуна. Дико закричалъ онъ и заплакалъ, какъ изступленный».

И страшный «демонъ смѣха» обернулъ свою оскаленную морду къ Гоголю и крикнулъ ему: «Чему смѣешься? надъ собой смѣешься!»

II.

Отъ первоначальныхъ романтическихъ увлеченій Гоголь перешелъ къ «Вечерамъ на хуторѣ», облитымъ яркимъ солнцемъ Малороссіи, пронитаннымъ ароматомъ ея садовъ и полей. Здѣсь молодость празднуетъ свой веселый пиръ, беззаботно звенитъ раскаты молодого смѣха, тутъ и пѣсни, и любовь, и женщины, и задорная шутка, и ювалъ удалъ, блистающая радость и красота молодой, горячей жизни.

Но молодость промелькнула, какъ вѣшняя вода; болѣе глубокой, болѣе озабоченной взглядъ на жизнь все болѣе властно охватываетъ душу Гоголя, и продолженіе «Вечеровъ на хуторѣ», повѣсти, изданныя подъ общимъ заглавіемъ «Миргородъ», кончаются печальнымъ аккордомъ унынія и за сердце хватающей грусти.

«Опять то-же поле, мѣстами изрытое,

черное, мѣстами зеленѣющее, мокрая галка и вороны, однообразный дождь, слезливое безъ просвѣта небо!.. Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!»

Художникъ, который выносилъ въ своей душѣ «Ревизора», «Женитьбу» и «Мертвыхъ душъ», сознавалъ свою гениальность, сознавалъ свою страшную власть надъ жизнью, которую онъ умѣлъ воссоздавать и концентрировать въ такихъ совершенныхъ произведеніяхъ искусства. Онъ почти осязалъ глубокую тайну гениальнаго творчества. Его художественныя созданія давались ему не сразу. Онъ много, упорно и долго работалъ надъ каждымъ изъ нихъ. Онъ видѣлъ, какъ его творенія постепенно вырастали, очищались, совершенствовались. Грань за гранью, не жалѣя упорнаго, внимательнаго труда, оттачивалъ онъ тусклые камушки первоначальныхъ набросковъ, и все ярче и блестятельнѣе загорались чуднымъ огнемъ многочисленныя грани, и то, что казалось простымъ, сѣрымъ камнемъ, превращалось въ дивно сверкающій алмазъ.

Такъ, анекдотъ о мелкомъ петербургскомъ шалонаѣ, котораго шесть нечистыхъ на руку уѣздныхъ чиновниковъ приняли за ревизора,—превращается въ безмертную комедію, а исторія о проходивцѣ, скулавленнымъ съ неблагоприятною цѣлью фиктивныхъ души, превращается въ несравненную поему.

Сознаніе своего великаго назначенія, сознаніе возложенной на него миссіи жило въ душѣ Гоголя съ дѣтства. Дѣйствительность какъ будто-бы оправдывала его предчувствія, но чѣмъ выше взбирался онъ, тѣмъ менѣе чувствовалъ онъ удовлетворенія, тѣмъ болѣе широкіе горизонты раскрывались предъ нимъ, и тѣмъ выше и недоступнѣе поднималась надъ нимъ область идеала.

Въ его душѣ, какъ, въ наши дни, въ душѣ Мопассана, жила страстная тоска по идеалу, а дѣйствительность ужасала его своею пошлостью и низменностью. Онъ сознавалъ свою великую власть надъ этой дѣйствительностью, потому что умѣлъ эту низменную и пошлую дѣйствительность возвести въ «перлъ созданія».

Но эта власть не могла его удовлетворять.

Во имя чего низменность и пошлость жизни возводится въ «перлъ созданія».

Конечно, во имя жизни. Ибо Гоголь, въ противоположность Пушкину, никогда не думалъ, что искусство рождено «для звуковъ сладкихъ и молитвъ», онъ ни разу не усумнился, что назначеніе искус-

ства возбуждать «чувства добрыя».

Гоголь, который всегда стремился къ «службѣ», который и на писательство смотрѣлъ, какъ на службу, страстно и нетерпѣливо жаждалъ непосредственнаго воздѣйствія на жизнь. Именно нетерпѣливо. Гениальность, стремившаяся къ сознательности, породила въ душѣ Гоголя великое нетерпѣніе, а творчество художественное не уживается съ нетерпѣніемъ.

Творчество имѣетъ свои времена и сроки, «нихъ-же не преидеши».

Почка набухаетъ и раскрывается въ свое время, и если раскрыть ее насильственно раньше времени, она завянетъ, не давъ ни цвѣтовъ, ни плодовъ.

И всякое живое твореніе рождается въ опредѣленный срокъ, а до срока является недоноскомъ или выкидышемъ.

Даже бездушный кристаллъ требуетъ известнаго времени для своего образованія. Такъ-же нельзя насиловать и художественное творчество.

Но художественныя творенія и создаются медленно, и дѣйствуютъ на сознаніе долгимъ и медленнымъ путемъ, а Гоголь въ своемъ великомъ нетерпѣніи стремился къ непосредственному, къ прямому и немедленному воздѣйствію на жизнь,—и онъ сталъ насиловать себя.

«Я мучилъ себя, насилуялъ писать,—сознается онъ въ письмѣ къ Смирновой,—страдалъ тяжкимъ страданіемъ, видя безсиліе свое, и нѣсколько разъ уже причинялъ себѣ болѣзнь такимъ принужденіемъ, и ничего не могъ сдѣлать, и все выходило дурно. И много, много разъ тоска и даже чуть-чуть не отчаяніе овладевали мною отъ этой причины».

Время Гоголя было временемъ первой юности русской литературы. А юность нетерпѣлива, она не хочетъ ждать медленнаго хода нарастающихъ и развивающихся явленій жизни. Юность охвачена страстнымъ исканіемъ истины и правды и нетерпѣливо *всей* истины и *всей* правды, юности страстно хочется выводовъ абсолютныхъ, универсальныхъ, она всегда готова оборвать развѣдающую работу анализа, чтобы скорѣе придти къ синтезу.

Этимъ великимъ нетерпѣніемъ юности былъ охваченъ и Гоголь.

Чувствуя свою силу, свое значеніе, онъ страстно захотѣлъ воздѣйствовать на жизнь немедленно и непосредственно, воздѣйствовать прямо и осязательно—и увлекся учительствомъ.

Развѣдающій анализъ, внезапно оборванный въ своемъ развитіи, обратился

внутри и сталъ разрушать его собственную душу.

Гоголь писалъ Смирновой, что «эгонистовъ не было-бы вовсе, если-бы они были воумнѣе и догадались сами, что стоять только на нижней ступенькѣ, ступенькѣ своего эгонизма, и что только съ тѣхъ поръ, когда человекъ перестаетъ думать о себѣ, съ тѣхъ только однихъ поръ онъ начинаетъ думать истинно о себѣ, и становится такимъ образомъ самымъ разсчитливѣйшимъ изъ эгонистовъ».

Гоголь не чувствовалъ страшной пропни этихъ словъ.

Пока онъ думалъ не только о себѣ, а свободно отдавался своей потребности творчества, пока онъ творилъ для всѣхъ, онъ создавалъ великія произведенія, нужныя и важныя для всѣхъ.

Но съ тѣхъ поръ, какъ онъ отдался задачѣ личнаго усовершенствованія, съ тѣхъ поръ, какъ онъ сталъ рыться въ собственной душѣ, т.-е. именно сталъ думать больше всего о себѣ, о своей собственной душѣ, съ тѣхъ поръ онъ и опустился на низшую ступеньку, горизонтъ его сгустился,—и солнце позави, озарявшее его наверху, на гордыхъ вершинахъ гениальнаго творчества, замѣнилось невѣрнымъ и трепетнымъ мерцаніемъ мистическихъ оней.

Это великое нетерпѣніе унаследовали отъ Гоголя и Достоевскій, и Толстой, и Габъ Успенскій.

И они оставляли художественное творчество, въ которомъ была ихъ главная сила, для непосредственной проповѣди, для публицистики.

Это великое нетерпѣніе, это стремленіе къ непосредственному учительству—какъ будто сродни славянской душѣ. И Мицкевичъ изъ яркаго великаго поэта превратился въ туманнаго пророка.

Пока гениальность художественнаго творчества владѣла душой Гоголя, онъ создавалъ великія, бессмертныя произведенія, онъ работалъ для другихъ, для родной страны, для всего рода человеческого.

Когда Гоголь захотѣлъ овладѣть своимъ творчествомъ, сдѣлать его послушнымъ орудіемъ для проповѣди, душа его изнемогла въ борьбѣ, и, не умѣя побѣдить своего гения, этого демона смѣха, онъ сталъ его отрицать. Гоголь сжегъ свои рукописи и готовъ былъ уничтожить все, написанное имъ прежде, всѣ плоды своего гениальнаго творчества.

Больная, запутавшаяся въ собственныхъ противорѣчійхъ душа изнемогла въ болѣномъ, истерзанномъ страннѣмъ нервнымъ недугомъ тѣла.

Въ душѣ Гоголя назрѣвали великія созданія, ему было еще далеко до старости, но въ своемъ великомъ и страстномъ нетерпѣніи, онъ не давалъ возможности созрѣть тому, что наполняло его истерзанную душу.

Онъ пересталъ питать свое творчество подлинными соками жизни, онъ замкнулъ свою душу отъ широкихъ вѣзній многообразной дѣйствительности,—и творчество его, какъ растеніе вырванное изъ почвы, стало чахнущимъ.

Такъ погибъ этотъ страдалецъ отъ избытка любви и презрѣнія, подавленный собственной гениальностью, измученный великимъ и страстнымъ нетерпѣніемъ.

Въ одной изъ индѣйскихъ легендъ мудрецъ, проповѣдывавшій людямъ любовь до конца, встрѣтилъ изнемогающую отъ голода тигрицу, подлѣ засохшихъ сосновъ которой умирали ея дѣти. И мудрецъ забылъ, сколько пользы могъ бы принести людямъ даръ его божественной мудрости. Онъ видѣлъ страданіе близкое, тутъ, подлѣ себя, и забылъ всѣ свои великія цѣли и намѣренія. Единственное, чѣмъ онъ могъ спасти тигрицу съ ея дѣтьми—было его собственное изможденное тѣло, и онъ отдалъ ей свое тѣло, чтобы тутъ-же на мѣстѣ исполнить великій завѣтъ любви.

Онъ поступилъ неразумно и порасчетливо. Тѣло мудреца, писаннаго на просвѣщеніе и утѣшеніе людямъ, имѣло назначеніе болѣе высокое, чѣмъ назначеніе куска мяса для голоднаго звѣря.

Но великое нетерпѣніе сдѣлать возможное добро сейчасъ, при первомъ случаѣ, исполнить великій завѣтъ любви, освободить живое существо отъ страданія,—это великое нетерпѣніе взяло верхъ.

Но такое-ли великое нетерпѣніе погубило и Гоголя?

Можно создавать гениальныя произведенія, они воздѣйствуютъ на людей, они постепенно будутъ смягчать ихъ сердца. Но когда рядомъ есть души, которыя нуждаются въ немедленной и непосредственной помощи, которыя изнываютъ отъ голода духовнаго, могла-ли чуткая, впечатлительная душа Гоголя разсуждать?

И онъ, забывъ всѣ свои великіе планы, надежды и намѣренія, тутъ-же отдалъ въ растерзаніе свою собственную душу... большую, изможденную, какъ изможденное тѣло индѣйскаго аскета...

Новосибирск 1902